



Виктор ХОВИН

«Ветрогоны, сумасброды, летатели!...» *

Ветрогон, сумасброд, летатель,
создатель весенних бурь,
мыслей взбудораженных ваятель,
гонящий лазурь.
Слушай, ты, безумный искатель,
мчись, несись,
проносись, нескованный
опьянитель бурь.

Елена Гуро

О ветрогонах, сумасбродках, летателях будут слова мои, и слова эти брошу я в лицо современности, брошу в лицо публичного искусства, столь превыспренного на ходулях своих, разукрашенного сусальным золотом, надушенного сладчайшими пачулями базарной продажности, — искусства увенчанной лаврами преодоленной бездарности, забывшей о горделивой дерзости, вложенной в слово:

творчество!..

Поймите же, г-да, что нельзя больше жить в атмосфере вашего публичного искусства, в атмосфере той потрясающей пошлости, которая называется *художественными* отделами толстых журналов, в атмосфере безлюбых суждений об искусстве всех этих академиков, профессоров и доцентов, приносящих живое творчество, дерзостное порывание к новизне, приносящих их в жертву доктринерским положениям, извлеченным из энциклопедии человеческой культуры, этой отвратительной анатомии духа человеческого.

* Извлечения из страниц, прочитанных на публичном выступлении «Очарованного Странника» 11-го декабря в Петрограде, и дополнения к ним.

Ведь поймите, что потеряно живое чувствование мира, живое ощущение жизни, движения, динамики его; поистине настало мертвое царство мертвых вещей...

И не потому ли, когда футуризм пытался вернуться к живому ощущению мира и вещей, когда он пытался вернуть к чувствованию динамики жизни и самое искусство, то вы встретили этот дерзостный порыв столь неосмысленным гоготом?

И не потому ли, когда футуристическое искусство заговорило живым, неожиданным языком, отвечающим его живому мироощущению, когда оно ушло от безрадостных, беззвучных, безличных слов, — от мертвых слов о царстве мертвых вещей, то и тут вы не переставали смеяться?

Мы плененные звери,
Голосим, как умеем,
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.

.

К повторениям сердце привычно,
Однозвучно и скучно кукуем.
Все в зверинце безлично, обычно,
Мы о воле давно не тоскуем.
К повторениям сердце привычно!..

О, разве же не на повторности зиждится и ваше мироощущение, и ваша эстетика, и язык ваш; *разве же* не на безличии и обычности?

Когда футуристы в брошюре «Слово как таковое» издевались над теми требованиями, которые предъявляете вы к языку, — над требованиями ясности, чистоты, звучности, приятности для слуха, когда писали они, что язык должен походить скорее всего на пилу или отравленную стрелу дикаря, то разве поняли вы, что тяготеют они ужасным наследьем искусства прошлого, что тоскуют они по новым формам, новым словам и новым сочетаниям их, которые дали бы истинно эмоциональное ощущение мира.

И когда эстетики из «Современных миров» говорят о понятных и ясных произведениях искусства, то восхваляют они все то же *однозвучное и скучное* кукованье, восхваляют все то же окаменелое слово, которое находится в услужении у шаблонного восприятия мира.

Но что же сделали «освободители слова», те, кого называют теперь символистами?

Сколько «благородного пота» потратили они на то, чтобы приукрасить язык свой. Действительно же поэзия их стала без-

голосой сливочной тянучкой. И свое, самоценное, слово они снова отдали в услужение не менее мертвому мироощущению, окутанному на этот раз мистическим туманом.

«Слова суть тени переживаний», — писал где-то символист Андрей Белый. Но только как же относиться к словесному искусству после такого признания? Поверить на слово Андрею Белому, что у символизма остается еще «избыток» непередаваемых восторгов и страданий, — поверить-то ему можно, только творчество от этого ничего не выиграет; *так* при бессильном пессимизме и останемся.

Замечание Андрея Белого целиком из Тютчева исходит:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

Но только все в этом скверном четверостишии неправда.

Зачем высказывать сердце свое через мысль, через логику? Не смазным сапожищам рассудка иметь дело с нюансами душевными, а интуитивному постижению.

Только для такого интуитивного постижения необходимо постичь и эмоциональную основу слов, почувствовать их, — почувствовать их не написанными, а звучащими. Тогда слово взнуздает переживание, оседлает его, перестанет быть тенью.

Вот психологи доказывают, что когда читаем мы, то замечаем только первые буквы, первые черточки, остальное же дополняем по привычке. И психологи радуются — такая экономия времени!

Но только позвольте, как же это поэт пишет: «есть слова — их дыханье, что цвет, так же нежно и белотревожно...»

Хорошо, однако, дыханье слов, когда видишь только первые черточки.

Черточки — каково выражение?

Бог с ней, с экономией. Невольно поймешь нарочитое заявление Хлебникова и Крученых, «чтобы писалось туго и читалось туго, неудобнее смазных сапогов или грузовика в гостинной». Как бы не писалось, лишь бы только от черточек избавиться и власть теней всяческих с себя сбросить...

Ну, где же рассудку понять поэта:

От счастья летнего рождаются слова. Все хорошие слова:

Прудик, водик,
бродик
верблюдик

растерятик
пароходик.

Или еще: «Скалочка? Это просто так я выдумал. Скалочка. Это должно быть что-то среднее между ласточкой и лодочкой...»

Так вот, г-да, слова рождаются, и рождаются от счастья летнего или от чего-нибудь другого, но такого же.

Вы, наверное, помните великолепный диалог Дон Кихота и Санчо Пансо:

— «Когда ты приблизился к ней, — спрашивает Дон Кихот, — не повеяло ли на тебя восхитительнейшими ароматами?..»

— Никаких запахов я не слышал от нее, кроме одного, — ответил Санчо, — происходившего, верно, от того, что, работая, она страх, как потела».

И когда Дон Кихот уверяет, что это у него, у Санчо, был наморск или от него самого так пахло, то бессмертный Санчо соглашается: «пожалуй, что свой собственный слышал я; — я точно зачастую слышу от себя такой же самый запах... и ничего тут мудреного нет, потому что один черт похож на другого...»

Один черт похож на другого... Еще бы не похож!

Как же было не узнать толпе, этому многоголовому Санчо Пансо, своего искусства, как же было не полюбить его? И какая милая откровенность — сознаться, что его собственным потом отдает весь мир.

Поистине трагическое положение. Значит, мир и вещи сами по себе, а Санчо Пансо со своим надоедливym и вечно неотступным запахом тоже сам по себе...

— «Я даю обет, — писала Елена Гуро, — никогда не печататься в ваших журналах и не быть как все, и не отнимать жизни у животных».

Да и как же иначе: или разжиженная амбра или, извините, запах пота. Примирения не найти: или ваше искусство, или не быть как все...

Скучно, до одури скучно с вами, г-да!

Вот, как послушаешь, напр<имер>, плеяду академиков всяких, о Достоевском говорящих, — это было, сравнительно недавно, — как они детей-то духа Достоевского под аплодисменты публики по учебникам психиатрии разъясняют, как послушаешь это, то только и думаешь, *что бы сделать*, чтоб академики замолчали.

На все готов, чтоб из тины выскочить.

Мальчишество! — скажите. Ну, да, мальчишество...

Вот в белом тумане города: утренние торопливые шаги.

«Куда ты бежишь? Я бегу к искусству, я с каждым шагом приближаюсь к нему, мне нипочем лужи, грязь и ветер»...

Вот сумасброд, действительно! Бежит, да еще через лужи и грязь.

А зачем бежать? — спросит рассудительный Санчо.

Ежели искусство, так искусством и дома, в тепле заниматься можно.

Чего, спрашивается, взбудоражился и утром на дождливую улицу выскочил?

Ну-ка объясните для чего?

— Бежит со всем своим чувствилищем к жизни и в жизнь и ужасно беспокоится за каждую пылинку живого, ужасно оскорбляется за всех этих хмурых и злобных, идущих незрячими по улице и потом униженно просящих пророков своих дать им хоть немножко сусального золота, чтоб могли скрасить они жизнь свою неприласканную.

А за поэтами уличные тыщи
Студенты проститутки подрядчики
Господа!
остановитесь
вы не нищие
вы *не смеете* просить подачки.

Не смеете!..

Привыкнув к героической ходульности, к фабрикованным тэтовским брильянтам, своим-то чувствилищам вы ни на грош не верите, а как жизни коснетесь, так только пот и чувствуете.

Вот, если бы вы поняли Маяковского:

Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев
людей *как мы*
от копоты в оспе.
Я знаю
Солнце померкло б увидев,
наших душ золотые россыпи.

Но разве же Санчо услышит? Разве поймет, как это так, без нужды, по лужам шлепать, для чего это люди без видимой причины, от скуки одной, с ума сходят?..

А что скучно теперь, так, по-моему, и спорить нельзя. Стоит только над символизмом подумать, ибо ведь он, символизм, и есть самое значительное, самое серьезное в искусстве сегодняшнего дня.

О, вещая душа моя.
О, сердце, полное тревоги.

О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия...

Из этого тютчевского четверостишия и пошел весь символизм русский, недаром символисты так любили его и так часто цитировали.

Дерзновение за грань, порывание за пределы познаваемого, — к стихии чуждой, запредельной, экстаз сверхчувственной интуиции, постижение иных миров и т. д., и т. д., — вот это все и есть истоки русского символизма. Символизм первый заговорил об интуиции, и в этом его громаднейшая заслуга, но как-то фатально интуиция разбилась о рассудочность символизма, утонула в мертвых, отвлеченных и общих понятиях.

«Мы, распростерты на земле перед алтарем Неведомого, молимся Тайне в сладком волнении», — писал Георгий Чулков.

Не знаю, как вам, но мне отвратительна эта пустая значительность, эта таинственная речистость. И как часто сбивался на это символизм и как в конце концов канул он в пустоту *такой* значительности.

«Безмолвные и глубокие воды таятся под тонкой оболочкой каждодневной жизни», — говорит Метерлинк. И, по-моему, когда слышишь это в первый раз, то звучит это совсем не скверно. Но когда армия символистов, упершись лбами о стены, повторяет это бесчисленное число раз, то это выходит хуже и совсем, *совсем* не таинственно.

И когда сам Метерлинк, умеющий быть иногда ясновидящим, думает, как верно заметил Крученых, что дверь, повторенная сто раз, преобразается в откровение, то и это выходит совсем не глубоко и не безмолвно.

Последние теоретические статьи символистов — действительно символические памятники, воздвигнутые ими самим себе.

Какой кладезь премудрости всяческой, какая бездна знаний, ума — палата, но где же, где пульс этих живых покойников?

Заперлись в темном храме, плотно забили все щели, возжгли восковые свечи перед пустыми нишами и лежат распростертые...

Темно и душно. Молчаливая пустота...

Мистика, бестрепетная мистика опустошенных безверных душ; постижение иных миров без полета, — не даром распростерты; устремление к стихии чуждой, запредельной, без дерзания...

А что, если бросить крик в это молчание? Что если выбить «глухозапертые двери», чтоб ворвались сюда жизненное солнце и трепеты лунолучений?..

А что, если прямо так-таки засмеяться в лицо этим докучным маскам? Или пройтись головою вниз от избытка радости?..

И вот от многозначительных слов, от школьного догматизма и рассудочности, от принудительной позы жречества, от пифийских вещаний должна была уйти новая русская поэзия, и она ушла от них.

Поэзия, рожденная неожиданной стихией бессознательного, последняя душевная вскрытость, глубинные слова, бросаемые откуда-то изнутри, — вот устремление новой поэзии...

Устремление это только отчасти характеризует футуризм, но оно захватило значительно большее число поэтов, пути которых идут мимо боевой и разрушительной деятельности футуристов, и устремление это неразрывно связано с именем футуристки Елены Гуро.

Я когда-то писал об Елене Гуро, что поэзия ее — поэзия материнства. И потому-то, быть может, целое поколение молодых поэтов питает к ней сыновью, поистине сыновью любовь.

И нельзя говорить о влиянии ее на современную поэзию, о подражании ей молодых поэтов, ибо все это гораздо больше влияния и значительнее подражаний.

Елена Гуро действительно сумела взглянуть миру в глаза и действительно почувствовала душу его.

И случилось чудо постижения, чудо интуиции, и «душа вышла из границ» навстречу миру, и услышала она «миги живыми и душу их соединений».

В творчестве ее нет посяганий на то, чтобы быть чем-то большим, чем поэт, — претензий на жречество, нет уверений, *именно уверений*, в молитвенных созерцаниях, нет Тайн с больших букв, а есть только большие, большие лучистые глаза и большая, большая душа, упоенная белым экстазом...

Радостная в ясновидениях своих, она всегда бежит от отвлеченных и общих понятий, обезличивающих мир и вещи, и всегда стремится к конкретному, к проникновению внутрь предмета, к слиянию с его индивидуальной природой, к слиянию с постоянной, непрерывной творческой изменчивостью, текучестью жизни.

Это не реализм с его докучным описательством застывшего мира внешних фактов и обстоятельств, не реализм с его поджавшим хвост рассудком, уверенным, что непознаваемое нельзя познать.

И это не символизм, распростертый перед лишенной плоти Психеей, не символизм с его отвлеченной психологичностью, с его обглоданным миром схем, с его «Нектами в сером», сто-

ящими во всех углах для надоедливой напоминания о глубокомыслии сущего.

И какое, господа, великолепное и радостное совпадение, но так и должно было случиться, что в мире, постигнутом интуицией, как стихийный поток бесконечных жизней, — в мире, где все индивидуально, все само по себе, все гордое «не тронь меня», что именно в этом мире родились глубинные слова, родилась душевная открытость, характеризуются устремления современно-го творчества.

«Как найти мне, — писала Елена Гуро, — настоящие дорогие мысли? Чтобы не сочинять мне чужого и случайного. Ведь доходит же до меня весеннее».

Видеть мир просветленным, почувствовать живую душу пылинки живого и не иметь своего, *своего собственного голоса*, своих, непременно своих слов, о, конечно же, этого не может быть, этого *не должно* быть! Ведь дошли же до нее небо и свет зелени, ведь она же «прямая и горячая»?..

И в порывной детскости своей она снова и снова клянется: «надо быть искренним и не бояться, что стыдно... здесь я даю обет: никогда не стыдиться настоящей самой себя...»

.....

Почти что накануне того дня, когда задумал я свои страницы о поэзии взбудораженных душ, — душ, блуждающих в путях мечтательного общения с жизнью, уверовавших в чудо сверхчувственного постижения мира, почти что накануне этого дня вышла книга Евреинова «Театр для себя».

— Но позвольте, позвольте, — спросите вы, при чем же тут Елена Гуро, при чем поэзия взбудораженных душ?

Где связь этого крикливого позерства, звона бубенцов, крикливой арлекинады с поэзией душевной открытости?

Да, это — поистине нелепая неожиданность, поистине неожиданный парадокс, но тем великолепнее он. Самая неожиданная глава книги Евреинова, — глава, вскрывающая весь сокровенный смысл «Театра для себя», называется «Дон Кихот и Робинзон»:

— Как, и тут Дон Кихот? — изумляетесь вы.

Но послушайте, какие странные слова раздаются в театрализованном мире Евреинова:

— «И Дон Кихот и Робинзон, оба не хотели быть здешними, ибо здешность для них значила прозябание в подчинении раз установленному», — вы слышите, г-да, *раз установленному*, ибо здешность «являет оковы мечты, путы, вольного духа... Мы

не хотим этого мира. Ну его. Он нам противен во всей своей нищенской ободранности, во всей своей наготе опытом данного. И мы не верим в него, и он нам скучен, и не наш этот мир, совсем не наш...»

Воля к нездешнему, воля к «театру для себя» для Евреинова не только значит не быть как все, но и не быть самим собой.

Т. е., как это не быть самим собой?

Да, да, не быть самим собой, т. е., значит, не принимать и себя, и мир как *раз установленное*, не принимать их рассудком, а созидать какое-то свое личное, интимное, *творческое* общение с жизнью, *созидать* именно то, что Елена Гуро называла «*своим голосом*».

— Когда я говорю “театр”, я слышу разговор ребенка с неодушевленными предметами», — пишет Евреинов.

Но вечная детскость, вечное мальчишество, какая-то юношеская ласкательная дружба к предметам — да ведь это то, чем жила Елена Гуро.

«Мне уже 34 года, — пишет она, — но я убежала от собственных гостей. Чтоб не заметили с опушки, пришлось низко прилечь лицом ко мху, к старым еловым шишкам».

Ну, разве же это не «театр для себя»? И еще: «здесь я даю обет: никогда не стыдиться настоящей самой себя... И пусть за мной никто не ухаживает, я сильна.

Я сжимаю кулаки, но я одна и кругом *величественно*...»

Ну, разве же такая величественная гримаса, это — не та искренность, которая осуществляется ребенком, предоставленным в детской самому себе?..

И вот смотрите, г-да, как другой поэт через боль и муку, через трагизм идет к своим мыслям, к своему голосу.

Я говорю о В. Маяковском.

Слушайте же:

Книги?

Что книги.

Я раньше думал книги делаются так:

Пришел поэт

Легко разжал уста

И сразу запел вдохновенный простак:

Пожалуйста.

А оказывается

Прежде чем начнет петься

Долго ходят, размазолеев от брожения

И тихо барахтается в тине сердца

Глупая вобла воображения,

И пока выкипачивают рифмами пилика
 Из любвей и соловьев какое-то варево
 Улица корчится безъязыкая
 Ей нечем кричать и разговаривать...

Совсем другой, чем Елена Гуро, но та же боязнь чужой красоты, та же тоска по своим мыслям.

Тут постигнут трагизм жизни:

Улица муку молча перла
 Крик торчком стоял из глотки...

Так неужели же, когда безъязыкая корчится она, неужели же «варить из любвей и соловьев какое-то варево»?

И если Гуро постигла сладость душевной открытости, если в ее голосе звучала пусть грустная, но все же просветленная глубинность, то Маяковский познал тяготу раскрытия себя.

Поэт трагического, он сам трагичен, трагична открытость его, трагичен, мучителен для поэта голос его.

«А себя, как я, вывернуть не можете», — бьется в истерике Маяковский...

И снова все тот же парадокс, парадокс «театральности для себя»: в желтой кофте, в гримасах и корчах бьется свой, *настоящий* свой голос, — голос Вл. Маяковского.

«Боже, избавь меня от чужой красоты. Как найти мне настоящие, дорогие мысли?..»

И он нашел.

«Беру кусок жизни и творю из него сладостную легенду», — писал когда-то Сологуб. Но только не думайте, что, когда говорю я о мечтательном общении с жизнью, о новом творимом искусством мире, то говорю я об этих сладостных, слишком сладостных, легендах.

Да, творимый мир, но творимый совсем по-иному, чем это думалось раньше.

«Поэт — деятель, а не отниматель жизни... Моя рука подняла камешек и бросила... кружась спиралью, он очертил арку над краем леса в голубой стране... Он был всю жизнь на земле и вдруг моя рука дала ему полет».

Так и тот просветленный, творимый мною мир, он все время был на земле, и моя рука, воля моей божественной интуиции дала ему полет, дала ему жизнь.

И какую жизнь? Не отрешенную жизнь творимых сладостных легенд, а настоящую жизнь во мне, неразрывную со мной, ибо ведь недаром же я, *поэт*, — *даятель жизни*.

Мысли об отрешенном искусстве, о сладостных легендах, о человеческом и Божеском в писателе, причем легенды-то и есть Божественное, все эти мысли принесены с собою символизмом русским*.

Но только вы поверьте же, г-да, таким простым словам: «если очень полюбить стройную вершинку, можно ли затем кого-нибудь обмануть?...»

И если только раз увидеть мир просветленным, взглянуть в глубокие, глубокие глаза его, то можно ли забыть это видение?

Поймите же, что здесь не многолюдные храмы, не всенародное искусство, не жреческое перед большой толпой, не праздничное, ибо и праздничное, и жреческое, и многолюдные храмы — это нарочитое, витиеватое, напыщенное, в зеркало смотрящееся, вечно наблюдающее за своим отражением, — театральность для других.

Нет, здесь — не это, а все для себя, все такое, когда человек один или как один и когда только о своем, без зеркала, без отражения. Или, наоборот, это может быть и площадным, значит, темперамент требует такого, тут человек тоже как один, только на тумбе стоит или за фонарь уцепился, и тоже о своем, только голос (тоже свой) — крикливый, чтоб слышно было. Это — площадность, публичность, но не всенародность, не храм, не так, как на пьедестале стоят — прихорошенные, расчетливые и рассчитанные.

Ну, разве же «Облако в штанах» Маяковского — это творимая легенда? Хороша легенда, когда крик стоит торчком из горла.

А «театр для себя» Евреинова? — «Если вы любите сказку, вы должны хотеть этой сказки и в жизни...» Должны хотеть и в жизни.

А Елена Гуро с ее обетами и вечными, вечными клятвами? Разве о творимой легенде говорит она, т. е. о такой, которая, будучи сотворена каким-то нечеловеческим, Божественным духом в человеке, бросается в холодную недосягаемую глубь небес и оттуда светит нам холодными и чуждыми огнями.

Не легенда творимая, а жизнь торимая...

Мечтательное общение с жизнью?

Ну, да, — только, не слюнявая, бессильная, ни к чему не обязывающая сентиментальность, ни тоска по далекой Ойле, — тоска умолкнувших душ, этих спокойных *домоседов* поруганного *ими же* мира, а ласкательное общение с жизнью, непорочная верность, — верность ясновидениям взбудораженных душ своих.

* По этому поводу «Голос из подполья» в восьмом выпуске «Очарованного Странника».

С мыслями, раздавленными под тяжелыми колесами грузовиков, с нервами, пронзенными иглами громадных электрических шаров; под аккомпанемент шумливых рычагов механизированного мира

Мы каторжане города лепрозория
Где золото и грязь изъязвили проказу
Мы чище венецианского лазорья
Морями и солнцами омытого сразу.

И нам не нужно опрыскивать канканирующую вокруг нас действительность фимиамами фабричной парфюмерии, не надо разбрасывать на тротуарах вульгарные бумажные цветы и воздвигать на всех перекрестках идолов с провалившимися глазами.

Нам ли, говорит Маяковский:

Смиренно просить помочь мне
Молить о гимне об оратории
Мы сами творцы в горящем гимне
Шуме фабрики и лаборатории.
Что мне до Фауста феерией ракет
Скользящего с Мефистофелем в небесном паркете
Я знаю
Гвоздь у меня в сапоге
Кошмарней чем фантазия у Гете.

.....

Это еще герой Достоевского метался по комнате и разрывался желанием одним — собрать свои мысли в точку и непременно в одну. Так он то метался потому, что рядом в комнате труп жены самоубийцы лежал и точкой-то разрывался он потому, что ему нужно было труп победить, жизнью его осилить, чтобы труп *его* собою не раздавил. А нам-то уж подавно приходится метаться, ибо у нас не один труп, а или все — трупы, и улица труп, и машины, по ней бегущие, — трупы, и люди, пританцовывающие по тротуарам марионетками, — тоже, или все это живое, поток жизни творящее и живым потоком несомое. Ведь точка, в которую собрать нужно все мысли, ведь точка эта — наша связь с миром, с жизнью всей, без нее ни одной мысли оставить нельзя.

Точка наша и заставляет плевать нас на красоту, французскими каблучками щеголяющую, она-то и заставляет нас бежать и от «звуков небес», и от «ангельских хоров». Из теста живого сделаны и нервы в нем такие заостренные, обнаженные.

Возвышенная или невозвышенная наша жизнь — не знаем, только своею, непременно своею, жить хотим.

Живое закорчилось в душе и сами закорчились в мире живом. Только не подумайте, что раз корчи, так уж значит обуяны трагизмом, пессимизмом залаплены; корчиться ведь можно и с восторгом, в радости необычайной. Но только не место тут олимпийскому созерцанию; непристойностью кажутся ряды колоннад величественных, а линии эстетные, закругленностью и мастерством блистающие, так те — прямо противны и для жизни оскорбительны.

А кто же, как не мы, за жизнь отвечает?

И вот.

Ветрогоны, сумасброды, летатели!..

Верные обету высоты, полета и вечного мальчишества, вы должны обещать.

Обещайте же:

Обещайте бежать от реалистов, этих скопцов духа, раболепствующих перед рассудочным знанием мира, ничего не прозревающих за внешней оболочкой опытом данной, ограниченной действительности, омертвивших слово, отдав его в услужение ей?

Обещайте никогда не встречаться с эстетами, так иностранно произносящими русское слово, с эстетами, которые, конечно же, оскорбят вас своими коллекциями, в которых покоятся лепестки когда-то живой жизни.

Не встречайтесь с эстетами, этими хулителями жизни, с этими высокомерными гурманами музейной пыли.

Не отравляйтесь также и ядом символизма, ибо говорить о Боге не значит иметь его. Нельзя говорить о нездешнем, попирая все здешнее, нельзя говорить о духе, презрев душу даже самого маленького из нас.

Обещайте никогда не дружить с теми, кто не может понять любви вашей, нежности вашей к вещам, кто не понимает, что могут быть вещи, бесконечно близкие вам.

А если захочется вам сосчитать звезды на небе, остановитесь на дороге и как бы не ругались прохожие, натыкаясь на вас, обещайте не уходить, не сосчитав звезд на небе.

Обещайте, — и это самое главное обещание, — никогда не допускать седину в души ваши...

Обещайте!..

